

АНДРЕЙ ПИЦЕНКО



САВВИН ДЕНЬ

РАССКАЗ

Весна 1942 года. Волховский фронт

Ранним, только начинающим высветляться утром, растянувшись и увязая в дорожной густо размешанной грязи, шлёпала к передовой полурота. Подкрепление во второй батальон, что три дня назад взял напрочь сожжённую деревеньку Селищеву, кем-то устроенную на пригорке промеж болотной неудобь. Немец попытался деревеньку вернуть, навалился дюже — и битый батальон истаял до хилой роты, но деревеньку пока удерживал.

И сейчас там шёл бой — за лесом грохотало и хрипело. Туда с приказом поспешать и топала полурота. Пять десятков маршевиков, в основном совсем желторотых, не успевших ещё обовшиветь и обтерпеться военным лихом, тревожно вытягивали тощие шеи, беспокойно вертели головами по сторонам, пытаясь угадать — каково же здесь, на фронте? Многие застуженно и глухо бухыкали, у некоторых сводило рты нервной зевотой. За плечами — горбы вещмешков, винтовки. Одни несли цинки с патронами, другие по двое тащили деревянные ящики.

Чуть позади шагающего войска тяжело шла отошчала лошадёнка. Она с трудом тянула тоскливо поскрипывающую телегу, гружённую патронными ящиками. Лошадёнка умаянно налегала на хомут, выгибала от натуги спину — тянула телегу порой рывками. От колёс вязкой патокой отставала и тут же снова наматывалась грязь. Лошадёнка время от времени измученно отфыркивалась, косилась на идущего рядом ездового.

ПИЦЕНКО Андрей Валентинович родился в 1979 году в Краснодаре. Окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета. Работал охранником, грузчиком. В настоящее время работает менеджером по оптовым продажам бытовой техники. Публиковался в журналах “Родная Кубань”, “Сибирь”, “Вологодский литератор”. Живёт в Краснодаре.

Ездовой иногда брал её под уздцы, иногда поглаживал по шее, а иной раз и просто брёл рядом, не разбирая дороги, устало плюхал по лужам. Был ездовой невелик ростом. Да и комплекции был вовсе не богатырской. Про таких в народе говорят — заморыш. По-бабьи узкий в плечах, тонконогий даже в ватных брюках, тонкошей, скуластый, остроносый неказистый солдатишко с выцветшими бровями и безмерно усталыми, блёклыми глазами. На маленькой стриженной голове — замызганная ушанка, из-под которой торчали оттопыренные уши. На худом теле складками топорщился землястый, прожжённый на спине ватник — то след от костерка, у которого грелся ездовой, да, видать, заснул. Руки его, если он не трогал лошадь, безжизненно висли, и только свекольного цвета пальцы, помороженные с зимы, нервно подёргивались.

Ездового от рождения прозывали не иначе, как Петруней. Но в строгих военных списках числился он рядовым транспортной роты энского полка Петром Ивановичем Востриковым, восемнадцатого года рождения.

В лесу, по обе стороны обступившем дорогу, ахнул взрыв. Потом ещё два, ближе к дороге. И стихло столь же внезапно, как началось. Лишь дымная муть поднялась над деревьями. Полурота резко, как по команде, остановилась — и враз прекратилось разнобойное хлопанье усталых ног, тяжёлое дыхание, смолк глухой и тихий редкий говор, остудный кашель и походный пристук котелков. Те бойцы, что помоложе, заозирались, а потом, будто ища защиты, во все глаза глядели на командира — молоденького младшего лейтенанта. Он, судя по всему, и сам на передовой никогда ещё не бывал.

Петруня с лошадей тоже остановились. Кобыла тут же ослабила заднюю ногу, понуро опустила голову. К Петруне подбежал младший лейтенант и срывающимся от волнения фальцетом спросил:

— Это что? Обстрел? Пристреливаются?

— Кто его знает, — пожал плечами Петруня. — Дуром дорогу щупает. Не должен. Была бы “рама” в небе — покидал бы гостинцев. А так — нет, не должен. Дуром много не швыряет, бережёт. У немца, у ево, подика, тоже распутица.

Младший лейтенант напряжённо поглядел вокруг, часто хлопая длинными ресницами, и совсем тихо, наверное, чтобы не услышали его бойцы, спросил:

— Справа вон тоже бой вроде идёт. Как будто позади нас. Мы не прошли?

— Это у соседей. Наш полк глубже немца ковырнул, — тоже тихо ответил Петруня. Точно он этого, конечно, не знал, но слышал от всезнающих связистов.

— Ещё с километр по лесу, — продолжил Петруня. — Потом — полем в низину, там через ручей перемахнём, на изволок подыдемся и снова через лес. За ним — и передовая. Но там уж надо поглядывать. Сплошной обороны тут нет. Болотистые леса здесь, для этого дела неподручны.

Петруня замолчал и окинул взглядом лес. Деревья, ещё недавно обмётанные сказочным куржаком, теперь стояли чёрные и нагие, обнажив уродливые увечья, причиненные бомбами и снарядами. Кругом валялись выворотни. Иным деревьям посрезало начисто кроны, и стояли они теперь, как воткнутые в грязный снег кривые батоги. Промеж битых деревьев там и сям проступала из-под снега неприютная чёрная вода торфяных болотцев.

Снова пошли вперёд. Петруня топал рядом со своей лошадейкой. И поглядеть на него со стороны — показался бы Петруня равнодушным ко всему на этом свете. Бредёт себе устало и бредёт. Но в голове его ворошились тяжкие мысли. Ворошились, скатывались комьями вниз, перехватывая дыхание, саднили грудь Петруни. Казалось, будто бы его ноющее сердце гнало по венам не кровь, а ртуть, отчего ноги и руки немели. И всё вокруг: выбитый лес, мокрая дорога, шум передовой — всё уплывало, застилалось неведомо откуда резко набегающим туманом. Петруня и сам, взятый этим туманом, делался невесомым и переставал сам себя ощущать. Видел или слышал лишь лошадь. Его верная Везуха на глазах теряла силы от надсадной работы, распутицы и бескормицы.

На перестроившейся в полковую транспортную роту они попали одновременно. Петруня, чудом уцелевший и пробившийся из Вяземского котла, Везуха — из конного двора прифронтowego колхоза. Это была рабочая лошадь

с прогнутой спиной и опущенным животом, но ладно обихоженная. Рыжей масти, с белой звёздочкой на лбу и белой же проточиной на переносье, умными, добрыми, чуть печальными каштановыми глазами и сторожкими ушами. На передних ногах — аккуратные белые носочки в полпясти. А теперь это заляпанная грязью по шею, ужасно тощая, с торчащим хребтом, остро выпирающими рёбрами и грустным взглядом неимоверно усталая лошадь.

Низко понутив голову, нехотко шла Везуха, шумно надувая тощие ребристые бока. Иной раз начинало её на подъёмах или корневищах обессиленно мотать в оглоблях из стороны в сторону. В совсем уж утонувших местах на дороге были сработаны лежнёвки, и Везуха то и дело попадала ногами между жердей. И тогда, споткнувшись, лошадь вздрагивала всем телом от страха, резко дёргалась, стремясь найти опору другими ногами, вызволяя застрявшую. И вызволив, ещё какое-то время неуверенно частила и боязливо и жалобно всхрапывала. Распутица. Да оно и раньше, зимой, тоже несладко было. То снегу навалит так, что не пройти, не проехать. То по неровным зимникам, в раскатах, часто сани ходили влево-вправо, отчего били оглобли Везуху по ногам. То, испугавшись близкой бомбёжки, помчится Везуха по снежной целине, ломая наст, им до крови раздирая ноги. Куда ни кинь — всюду клин...

Лошадей в полковой транспортной роте не осталось и десятой части, каких побило бомбёжками и обстрелами, какие приняли смерть на минах, которых лошадёнок свалил изморный голод и непосильная работа, тех добывали ездовые, в основном кониной и кормившиеся. Если были в окружающих деревнях уцелевшие соломенные крыши на пристройках — обнесли их подчистую на прокорм лошадям. Уж и кору с деревьев ездовые драли да варили — другого ничего не оставалось. Об овсеце и не мечтали. Он если и доходил крохами в полукруглённую армию, то весь шёл соседям. В кавалерийский корпус, что ещё пытался наступать. И становилось в роте лошадей всё меньше и меньше. Да и были они ещё до наступления уже не строгих кадровых порядков. Собранные по прифронтовым деревням, к огню и бомбёжкам не приученные, измытаренные, необихоженные, бросовые обозные лошадёнки с исполосованными до костей спинами и боками. Да и фургонов военных тоже нет теперь в полку. Вместо них — крестьянские разномастные телеги, сани-розвальни. А то и вовсе волокуши, сробленные бойцами. Также в большинстве своём уже не кадровыми, а вчерашними деревенскими да городскими мужиками.

Везуху Петруня никогда не понуждал. Из-за этого случались у Петруни в пути задержки и нагоняи от взводного, сержанта Меркулова. Нагоняи, правда, Меркулов учинял без злости. Знал сержант — иной ездовой так замордует свою лошадь, что та и четыре рейса в день не выдюжит, а Петрунина Везуха — и все семь, неспешно, но одолеет. А ещё знал Меркулов, да и все обозники знали — в лошадях лучше Петруни во всём полку никто не разумеет. К каждой лошадёнке подход имеет. И всё лаской, добрым словом и неустанной заботой. Ещё был Петруня зелейником — ведал какие-то травы, ими, бывало, подлечивал лошадей. Хотели его одно время даже в ветеринарный полковой лазарет определить. Да дюже лихо сделалось — до лазарета ли теперь?

А ещё вся транспортная рота находила Петруню хоть и нужным, но весьма чудаковатым человеком. Не от мира сего был Петруня. И уж тем более не для войны. С людьми Петруня говорил скупю, а то и вовсе больше отмалчивался. А вот с лошадьми разговаривал охотно и много, никого при этом не стесняясь. Про деревню свою лошадям рассказывал, про конюшню, про деда своего. Но это ещё куда ни шло. Какой ни случись военной спешки и горячки — пока молитву Флору и Лавру не сотворит, в дорогу ни за что не выйдет. Ни в какую. И не шёпотом молитву совершит, а в голос. Сержант ли рядом, майор иль и вовсе полковник — неважно Петруне. Уж гоняли его за это и командиры, и ротный политрук, и даже полковой комиссар на беседу вызывал. Покивает Петруня повинной вроде бы головой, со всем посоглашается, а всё одно: без молитвы в путь не пойдёт. А сержанту скажет: “Я ж о лошадях. Чтоб сил им...”

Но вот что больше всего удивляло ездовых — Петруня не ел конину. Совсем. Как со снабжением сделалось худо и стало стремительно войско тощать, так ранеными и больными лошадёнками пришлось попуститься, били их на мясо. Тем обозники в основном и кормились. Петруня же, несмотря

на уговоры, к конине не притрагивался и перебивался промёрзшими сухарями и кипяточком. “Я друзей не ем”, — неизменно отвечал Петруня. Ещё, стараясь обмануть пустое брюхо и недосып, до одури смолил махру. Да и скудный свой сухарный паёк половинил. Делился с Везухой. Высох весь Петруня, в подглазьях чернота — глядеть страшно. Ватник, самый малый в роте, специально для Петруни выменянный сержантом Меркуловым в каком-то женском подразделении, и тот на ездовом в складку пошёл. Шатает Петруню от голода и усталости, а спать не ляжет, пока Везухе хоть какой-нибудь корм не споровит. Иль оброненный кем пучок соломы в оттаявшем снегу найдёт, или мха раздобудет да потолчет, иль молодых берёзовых веток да коры надерёт и в котелке пропарит. А потом уж ещё свежей хвои натешет — на подстилку лошади.

Но вот сегодняшней ночью дал Петруня промашку. День перед этим выдался долгий и тяжёлый. С утра, затемно, сделали две ходки во второй батальон с патронами, обратно, как обычно, тяжёлых раненых забрали. А уж после опять раненых возили, из полковой медроты в медсанбат. Даже на обратном пути в порожнюю телегу Петруня не садился, себе послабления не давал, жалел Везуху. Цельный день дождало. Оно, навряд, и хорошо — авиации не было. Но промок, озяб, ухайдокался Петруня.

Днём на остановках Петруня изловчился, насобирал из-под снега немного мха. И надрал берёзовую кору на распарку. Да со своей скудной пайки выделил два сухаря. Таким вот богатством собирался кормить Везуху, а пока распариваться будет кора в котелке, решил Петруня впервые за день присесть, вытянуть ноги и покурить. Уселся, привалился спиной к стене полуразбитого коровника, что служил нынче подобием конюшни. Самокрутку свернул и, потягивая едкий махорочный дым, закрыл глаза. Всего-то на несколько мгновений закрыл, а хватило. Изменили силы ездовому. Уснул Петруня, крепко уснул, вожденная самокрутка выпала из расслабленных пальцев.

Через два часа, глубоко за полночь, спящим сидя его и нашёл сержант Меркулов. Долго тряс за плечо — и только кольхалась податливо голова Петруни. И пробудившись, все так же колыхая головой, Петруня долго не мог понять, кто перед ним и чего нужно.

— Петруня, милый, вставай! Ехать надо!

Ездовой в ответ лишь поскрёб пальцами щёку.

— Слышь, парень, чего говорю? Вставай.

— Чего?

— Ехать надо. Запрягай!

— Угу, — равнодушно ответил Петруня. Посидел ещё несколько секунд и, вдруг очнувшись, вмиг подскочил:

— Куда ж запрягать?! Только вернулись! Она, вон, порожняя обратно еле дошла! Да по такой дороге! Ей же...

Петруня не договорил, его повело спросонья да с голодухи, потянуло назад. Прислонившись спиной к стенке, поймав равновесие, он тихо произнёс:

— Не дойдёт она... обещали же — сегодня в резерве. Я же говорил — ей роздых нужен. Чтоб обмоглась. Не возьму на себя грех!

— На тебя вся надежда, парень, — с мольбой в голосе, не по-уставному ответил сержант. — Тягач ещё, но его всю ночь чинят, а починят ли — никому не ведомо.

Сержант Меркулов поведал, что в роте оставили только Петруню с Везухой и Апанасенко с Чалым. Остальных за полночь срочно отправили на ДОП. Отправили всех, ведь непонятно, сколько лошадей сможет пройти. Да и пока есть харчи да припасы на ДОПе — надо брать, потом может не быть, а полку воевать всё одно надо. Потом и Апанасенко поставили на подвоз в третий батальон. Но изнурённый Чалый нагруженную подводку сдвинуть с места не смог. Решили помалу навьючить его — и так возить. На второй ходке Чалый пал, а Апанасенко, на себе дотащивший ящики, ни жив ни мёртв остался у пехоты. А на второй батальон, что держит Селищев, весь день и всю ночь насаждают немцы. И ежели туда патроны да гранаты не подвезти, деревеньку держать будет нечем, да и некому.

— На тебя вся надежда, парень, — повторил Меркулов. И добавил: — Не один пойдёшь. Полурота из маршевых с тобой. Их тоже нагрузят. Одну ходку, парень. Одну.

— Не меня упрощивай. Её, — Петруня кивнул на лежащую лошадь. — Два дня уж как на ноги еле подымается. Встанет — может и выдюжит по-маленьку.

Сержант ушёл, а Петруня долго скрёб голову да смолил табак. Голова гудела от недосыпа и глаза слипались. Петруне ещё дома, в Тимошихе, тяжело было вставать в такие вот непрочные ночи. Когда уже и зима не зима, но и весна ещё не окрепла. Не будоражит ещё ветер мужицкую думу пресным духом пробудившейся земли, не призывает ещё в поле, но ворочает сонную мысль, а капель за окном частит шёпотом: “Пока спать, пока спать, пока спать”.

Вроде вот она зима была — цепкая, хваткая. А как в первых днях марта потянули с юга тёплые, влажные ветры, так усладили они колючий от застоявшихся морозов воздух. Вместе с последним дневным снегопадом обрушился на землю серый, низко нависший над лесами, отсырелый полог зимнего неба. И обнажилось высокое, пока ещё блёклое небо, заляпанное по-весеннему грязными тучами, из-за которых пыталось глядеть тусклое солнце. Днями зима неприятно куталась в снега по глухим лесам и низинам. По ночам же, будто бродячая старая нищенка, злая на весь отвернувшийся от неё мир, громко ещё ворчала слабеющими вьюгами, огрызалась колкими заморозками. А потом и вовсе пропала. И вспоминать стали о ней, лишь глядя на оставленные ею, предсмертно огрузневшие снега. Вот и дни такие же, как и ночи, непрочные какие-то сделались, хрупкие и бледные, не зимние, но и не весенние.

И спать, очень хотелось Петруне спать...

Везуха встала не сразу. Она беспомощно выбрасывала передние ноги, а подняться на них не хватало мочи. И всё ж кое-как встала на подрагивающие, как у жеребёнка, передние ноги, и затем уж на задние с Петруниной помощью. Никогда она, эта старательная лошаде́нка, не артачилась при виде хомута, а тут, увидев его, задрала голову и тихонько жалобно заржала. Петруня гладил Везуху, но она не откликалась на ласку, всё задирала голову. Тогда пришлось ездовому подпрыгнуть, чтобы протолкнуть хомут.

И сейчас Петруня, глядя на свою верную Везуху, снова горько пожалел, что не накормил, не обиходил ночью. А ещё Петруня клял себя за то, что не отстоял свою лошадь перед сержантом, её право на отдых, хотя и понимал, что сделать это было невозможно. Но попробуй, объясни это бессловесной и преданной лошаде́нке. Вот идёт она рядом, уже и жалобно коситься на ездового перестала. Лишь вздыхает постоянно, тяжко-тяжко, по-человечьи вздыхает.

Всякий раз, когда бывало тяжело Везухе и муторно на душе у Петруни, облегался ездовой ласковым разговором с лошадью. И хотя слова давались ему сейчас трудно, не хватало воздуха, да и гудела от недосыпа голова, то было единственное, чем он мог помочь сейчас ей. Да и себе.

— А нынче день-то какой, кормилица? — спросил Петруня. Часто он называл Везуху кормилицей. — Не знаешь? Вот и я не вдруг опомнился. Саввин день, вот какой день! В ранешние времена, ещё дедко Севастьян был живой, дак день особый был по всей деревне. Навроде праздника. Лошадей работой неволить не брались. Всё телеги готовили, починали. Радостно было. Значит, к весне дело. Дедко Севастьян так и говорил: “На Саввина сани покинь — телегу подвинь”. У вас-то было такое? У нас, правда, оно, как колхоз смикитили, так Саввин день обычным сделался. Трудодень, одно слово. Отробишь по колхозным делам — и готово. Ну, хоть я по этой части, коноховал, а остальные и забыть про этот день забыли. Да. И лошадей во дворах не стало. Вот как получается. У вас, поди, так же и было? А нынче, чего говорить, война идёт, сама видишь. Ненадобное дело в такой день животину неволить, а вот, кормилица, приходится. Ты уж не обессудь. Да, вишь как. Ранняя весна сподобилась. Мы уж с тобой, когда из саней выпряглись да в телегу впряглись...

Степенный этот крестьянский разговор ездового с лошадью прервал один из маршевиков. Маршевик чуть подотстал от колонны, ухмыльнувшись, глядя на Петруню, произнёс:

— Ты чегой это там бубонишь, земля? Кобыле, что ль, своей сказываешь?

Петруня посмотрел на маршевика. Это был приземистый, крепкий, жилистый мужичок с красивыми тёмными, но нахальными глазами и сплюснутым, свёрнутым набок, видать, не раз ломанным носом.

— Саввин день, говорю, сегодня, — ответил Петруня.

— Угу. Знаем. Живём в лесу — молимся колесу. Из богомольцев, которые, что ль? А мы из консомольцев. Слыхал таких, аль нет? — гоготнул маршевик.

Петруня промолчал.

— Ну, как тут жисть? — шевельнув ломаным носом, будто принохиваясь к этой “жисти”, спросил маршевик.

— Да известное дело, не сахарная, — отозвался Петруня, хотя и не очень хотелось ему продолжать разговор.

— Ничего, — враз помрачнев, сказал маршевик. — Ваше дело обозное, тыловое. Кобыл вон развлекать, сказки им сказывать. А вот наши дела, по всему видать, не больно ладные. Уж я войны понюхал, кой-чего кумекаю. Как на передке-то? Кажный день шебаршат?

— Воюют, — нехотя и глухо ответил Петруня.

— То-то и оно, — зло сплюнул маршевик.

Петруня больше не проронил ни слова. А маршевик какое-то время ещё молчал, шёл рядом, потом прибавил шагу, настиг колонну. Окопную страдалицу-пехоту Петруня неизменно уважал. Понимал ездовой, в каких обстоятельствах выпало им судьбой обретаться. Но всё ж пехоты он сторонился. Одно дело салажата, какие по первой к позициям топают. Те пока всем в рот заглядывают, всему верят. И правдам, и брехне — той ещё охотнее. Другое дело — бывалые вояки, из госпиталей. Эти уж свысока глядят, иной раз могут и словцо обидное ввернуть. Ведомо ли им, сколько раз тот обозник ноги в кровь растёр, вот так топая? Не спавши толком, не евши, выбиваясь из сил, в грязи по колено. Сколько раз попадал под обстрелы и бомбёжки, сколько раз на ночной безлюдной дороге обмирал Петруня от страха напороться на немецкую разведку. Один чёрт — обозник, тыловик для них Петруня. Потому хоть и не обижался, но сторонился пехоты. Да и вообще, не обладая угрюмым характером, сторонился людей. Не только в армии.

* * *

Отца своего, Ивана, Петруня никогда не видел. Ивана, вернувшегося в деревню с германской, через три месяца забрали в красные. Одно и успели с женой Марьей, что спроворили Петруню. Четвёртым дитём, да первым сыном. Сгинул Иван где-то под Кунгуром, в гражданскую ещё войну. Отцова мать, получив известие, отставать стала от рассудка, много хворать, затем и вовсе слегла. Марья ломилась по хозяйству, тянула четверых детей. Дед же Петруни, Севастьян, в чьём доме и жили, был коновалом. Охлащивал жеребцов, лечил всякую домашнюю скотину, но охотнее всего брался за лошадей. По всей Вожегодской волости слыл он мастером своего дела, и называли его часто по имени-отчеству. Говаривали про него, мол, лучше Севастьяна Степаньча никто лошади не разумеет.

Любил дедко Севастьян лошадей до чрезвычайности, к чему приучал и внука, Петруню, с малых лет потянувшегося к деду и его ремеслу. Получал понимать лошадей, распознавать их недуги, и какие можно — в первую голову пользительными травами врачевать. Наставлял никогда силу не пользоваться супротив лошади, а ежели и учить — то лишь лаской, добрым словом, добрым делом. И главное — ладным обиходом. Никогда Петруня не слышал от деда, чтобы тот даже голос повысил на лошадь. “Она человеку самим Богом дадена. Ты вот посмотри на неё. Хорошенько, брат, присмотришься. Она, кормилица, человека чище делает”, — говорил дедко Севастьян внуку. И ещё поговорку часто повторял: “Лошадь — человеку крылья”.

Часто ездил дедко Севастьян по окрестным селам и деревням. Как сам про то говорил — “в отход”. Бережно заматывал в чистую тряпицу икону Флора и Лавра. Это, говаривал дедушка, моя скиния, какая есть. Брал нужные инструменты, разнотравье лечебное, запрягал своего неизменного коня-старичка Орлика — и отправлялся в путь. Неделю, две, а то, бывало, и три дома не появлялся. Как исполнилось Петруне четыре годика, стал его дедко

брать в отход с собой. Упросил его внук, да и дедко не больно-то противился. Ездил по соседним селам и деревням. Дедко выполнял работу, попутно научая её премудростям внука. Маленький Петруня не вдрут привык к тому, что приходится делать лошадям больно. Жалеючи, и слёзы лил, бывало.

— Дедушко, ты ж жеребёнку больно сделал, — говорил потом Петруня.

— Дак всё одно легчить его порядил хозяин, — отвечал дедко Севастьян. — Лучше я сделаю, чем иной, кто без разумения. Вон уже не только скрыпинские варнаки, но и татары захаживать стали сюда. А коню, глядишь, оттого и не так больно, ежели ему с соображением да заботой делать.

Ночевали в отходах прямо в телеге, на мягкой подстилке из душистого сена, под мерный потреск угольев в костерке и шалую игру огненных бликов на тёмном покрывале ночи. В непогодь иль холод просились на постой в любую избу, никто им в ночлеге не отказывал. Так и ходили полями, лесами, берегами рек по окрестным деревням друг в друге души не чаявшие дедко да внук, так неразлучными сделались.

Помимо того, что вся округа знала Севастьяна Степаньча как отменно-го коновала, люди считали его большим чудачком. Имея в хозяйстве трёхлетнего жеребца Гусара, в отход дедко Севастьян запрягал неизменно старого, медленного Орлика. На вопросы мужиков отвечал: “Гусару рановато. А Орлик, что ж, он своё дело знает. Мы с ним понятие и согласие имеем. Да и обидится, ежели я не с ним поеду. Вот те крест, обидится! Карахтерный, и разумеет всё. И говорит. Ты только его понимать сумеи”.

Вот раз возвращались с отхода дедко Севастьян с Петруней, да к деревне своей завернули с севера, через холм. Тот холм в народе тягуном иль пыхтуном звали — перевалишь пока, дак семь потов сойдёт, а перевалил, вот она, деревня родимая. Поглядел дедко — заморился Орлик, совсем ему тяжело на тягуне. Велел Петруне соскочить с телеги, сам-то он рядом шёл. А потом распряг коня... и сам в оглобли встал, потащил телегу. Тащит, согнулся, налегает, фырчит не хуже Орлика, а внучку-то и говорит одышливо: “Ты уж, Петруня, никому про то не сказывай. Оно вроде бы и ничего, а не сказывай. Бабке с мамкой тоже, ни к чему им”. Да на беду ехали той же дорогой мужики из деревни по какой-то нужде. Мужики, конечно, зубоскалить взялись.

— Петруня, а что за жеребец у тебя, чего-то не признаю его? — засмеялся один.

— Да уж какой жеребец. Мерин, поди-ка. Ему к этому делу интересу уже нет! — поддал другой мужик.

— И чего реготать? — остановившись, ответил дедко. — Уморился-то коник, вот и дал ему послабление. Пособить доброму коню, оно, вроде не грех.

Хохоту на деревне было тогда. Долго потом, до самой войны мужики вспоминали этот случай. Пока жив был Севастьян, бывало, и подначивали по этому делу “чудака”. Да он не обижался. Смеялся вместе со всеми, потрахивая седой бородёнкой, кричал, покашливая:

— Было дело, точно.

Когда случилась коллективизация, в отходы дедко Севастьян ходить перестал, единоличное своё ремесло забросил по настоящему совету председателя созданного колхоза. Вступил в артель. Конечно же, на должность колхозного конюха. Едва сдерживая слёзы, свёл на колхозную конюшню Орлика и Гусара. К тому времени овдовевший, дедко Севастьян был при колхозной конюшне почти безвылазно. Тут же, с ним, проводил всё время и Петруня. Задавал лошадям корм, поил, чистил их, перестилал солому. Страдных лошадок старался накормить сытнее, понимал Петруня — их ждала тяжёлая работа.

Ещё с сызмальства отбившегося от деревенских ребят Петруню сверстники, конечно, не очень-то привечали. Дразнились, кидались в него коровьими лепёшками, нехорошее кричали, иной раз и били. Про то ему дедко Севастьян истолковывал: “Какие пареваны тебя возрастом постарше, от их всё идёт.

Потому что ты при деле, и выходит, что от дела ты их старшей, а не они тебя. Вот и варначат от завидок. Да всего-то по малости лет не уразумеют. Они мужиками станут, огрубеют. А у тебя душа такой, как у мальчика, чистой и останется. Оттого и претерпевать ей всю жизнь больше приведётся.

Дак, выходит, не ребята повинны, а я, старый. От меня такой ты пошёл. Тяжко бывает на Руси смиренным да увлечённым без расчёту. Вон, чудиком величают деда твоего. Так и тебя тоже будут. Ты уж меня прости, Петруня, да кому-то и это нужно бы сносить". Понимать дедкины слова Петруня до конца не понимал, но на ребят не обижался, да и не жаловался никому. Но стал сторониться сверстников, а когда и случалось быть промеж них, то отмалчивался Петруня. Время шло — и всё больше он отдалялся от остальных ребят. И тем сильнее тянуло Петруню туда, где его все понимали и где всё понимал он — в конюшню, к деду и лошадям.

Когда Петруне исполнилось шестнадцать, настигло его большое горе. Возвратившись с конюшни, дедко за ужином вдруг как-то недобро икнул, вытянулся вдруг за столом. Словно в зевоте свело ему на сторону рот. Кое-как, с матерью и сёстрами уложили дедушку Севастьяна на печь. А утром помянул дедко Петруню и, сбиваясь, долго отдыхиваясь, еле слышно промолвил:

— Знаешь, Петруня, что тебе дальше главное? С самим собой в ладу жить. По совести, значит, по своей. Иной раз трудно будет, да в разладе, парень, оно всё тяжельше. Такое, Петруня, тебе моё слово будет. Попомни его. А теперь иди, устал я...

На следующее утро закончил свои земные сроки дедко Севастьян, больше не проронив и слова. Вылечив сотни лошадей и прочей живности, сам же ни разу не побеспокоив "хвершалов", дедко Севастьян тихо покинул этот мир на рассвете...

Помогла Петруне пережить смерть дедушки работа. И лошади. Через несколько дней определили официально Петруню в колхозные конюхи. Приближалась страда. Тут уж с головой ушёл он в хлопоты, ещё больше замкнулся в себе, всё больше времени проводил на конюшне с лошадьми.

Бывало, таскал из дома тайком от матери для лошадей свёклу с морковкой. Не завтракал дома, лишь выпивал молока, а краюху хлеба брал с собой. Матери говаривал — там, дескать, в конюшне с кипятком и приговорю. И ополовинив краюху эту, Петруня раздавал по кусочку свой хлеб лошадям. И сердце своё раздавал добрым словом, лаской и радостным делом. Задавал сенца, запаривал овёс. Убирал в яслях, всегда старался свежей соломой постелить. Чистил, купал лошадей. Починял упряжь. Сбрую аккуратно развешивал, хомуты проверял ежедневно. Дедко Севастьян был бы доволен — порядок в конюшне, благодаря Петруне, поддерживался идеальный. По сердцу ему приходилась эта работа.

Но больше всего нравилось Петруне выводить коней в ночное. Верхом на Гусаре выводил табун с меринами, жеребцами, матками, стригунками на Митрин угор.

Жил в деревне мужик — Митрий. Каждую субботу, ежели не в страду, перед баней, бегал он на этот угор любоваться. Прибежит, сядет у берёзы, "козью ножку" скрутит богатырскую и сидит, вздыхает. Посидит, покурит с часок и бежит домой — париться, да и чарку-другую пропустить "от избытка чувств". Постарев, Митрий привычке своей не изменил. И всё говорил народу:

— Ежели смерть не обмануть, тогда помереть бы мне на моём угоре. До того баское место, что и помирать не страшно.

И вот поди ж ты, помер Митрий на угоре. Нашли его, а он сидит, спиной к своей берёзе приник, и бездыханный, смотрит вдаль невидящими глазами и улыбается. После того и прозвали угор — Митрин.

Вид с угора взаправду открывался очень красивый. Даже ночью. Прямо внизу петляет речка Куролесиха. В её ночной глади луна наискосок проложила серебром мерцающую дорожку. И вот уже кажется, будто, как по мостку, по этой дорожке можно перейти реку. Вправо и влево по реке, будто соревнуясь со звёздами, горят жёлтые огни бакенов, иногда сонно пропыхтывает какой-нибудь пароходик. И тогда распадётся чудный лунный мосток. Но Куролесихе такой не порядок не нравится. И буйная, сносящая по весне иные деревянные мосты, река медленно смыкает разъединённые серебрящиеся зыбкие пролёты, восстанавливая волшебный мосток. За Куролесихой, на другом берегу, неровно темнеют громадины величавых сосен Горелого леса. На эти сосны карабкается каждое утро солнце, а вскарабкавшись, проливает свои нежные утренние лучи на весь белый свет. Когда дует восточный ветер, прохладная влажность реки смешивается с крепким духом сосновой

смолы, нагретой за день, и грибной прелью. Слева, на этом берегу, за Крут-ликовым оврагом, светлеют и в ночи пшеничные поля. Вольный гуляка-ветер гоняет там одну волну за другой, и дивными золотыми переливами волнуются хлеба. Словно полевые сторожа, своей листовой мягко шепчут хлебам что-то спокойное редкие берёзовые колки. Справа, под угором, в низинке — заливные луга. Аромат их трав, окроплённых росой, пьянит не хуже любой бражки. Это лучшие сенокосные угодья в округе. Поэтому и зовут эти луга просто — Косаревыми. Скоро туман лёгкой дымкой появится над Куролесихой, а потом окрепнет и расплзётся, укутает своим мягким белым покрывалом и Косаревы луга. А за ними, на возвышенности, раскинулась родная деревня Тимошиха, покато спадая к Куролесихе огородами и едва видимыми в темноте банями. Тимошиха спит после дневных многочисленных хлопот. В избах сверчки за печками поют свою колыбельную песнь людям. И лишь в немногих избах оконца светятся тусклым огоньком. Наверное, там хозяевам не дают уснуть какие-то думы. Сидят, жгут табак, лучины, а может, и “каросин”. Тишина. Лишь на дальнем конце деревни, еле слышная, перекатами заливается гармонь подгулявшего песенника, да собаки взбреднут иной раз неохотно. Из Горелого леса, будто отзываясь, зарыдает пичужка да скрипнет в траве коростель.

В такие минуты садился Петруня на дерюгу и смотрел вокруг. Смотрел на землю, на усеянное звёздами небо. Иногда какая-нибудь звезда падала, казалось, совсем рядом. И если переплыть Куролесиху и пойти в Горелый лес, то непременно звезда отыщется. Покуривая, Петруня думал. Мысли плавно, мерно текли в его голове. Он думал о дедушке Севастьяне. О матери и сёстрах. Об отце, которого никогда не видал. О лошадях, что сейчас рядом хрумкали сочной травой. О новом дне и новых заботах. Иногда не думал ни о чём. Просто сидел и слушал звуки ночи. И в такие моменты жёл и жёл табак, сам не зная, отчего, до нестерпимой горечи во рту.

Оказавшись на войне, Петруня каждую ночь, закрывая глаза, видел Куролесиху, свою деревню, Горелый лес, Косаревы луга и, конечно, Митрия угор. И думал о словах Митрия. Ведь оно и правда. Где всё вокруг родное, знакомое с детства и красивое до беспамятества, в таком месте и умереть не страшно. И тогда на глаза Петруни наворачивались слёзы. Доведётся ли увидеть родные места? Случится ли поклониться могилке дедушки Севастьяна? Придётся ли обнять мать и сестёр?..

На деревне Петруня слыл молчуном. На вечерки не ходил. Матери и сёстрам говорил, дескать, некогда ему шатоломиться. Но, по правде сказать, побавлялся он насмешек со стороны ребят и девок. Но однажды случилось так, что усмеяться над Петруней никому уже и в голову бы не пришло. А потому, что свой первый бой он принял ещё до войны.

Иные деревенские мужики колхозных лошадей не особо жалели. Бывало, приедут, распрягут, да и свалят сбрую на землю, около конюшни. Или того хуже — распрягут в поле на отдых, изваляют хомут в ости да, не очистив, запрягут. Случалось, возвращали лошадей с потёртыми холками, шеями или спинами. Лечи, Петруня, на то ты и при должности! Некоторые мужики навалят чего в телегу без меры, чтоб за раз увезти, второй раз не ехать — и дупят, секут животину. Она вся в мыле, рвёт жилы, выворачивает суставы, еле тянет тяжёлую ношу на изволок. А её секут и секут безбожно, в кровь. Секут да покрикивают. Петруня, конечно, за такое укорял мужиков, с некоторыми и ругался. Да только мужики посмеивались да отмахивались от конюха.

Среди колхозных лошадей имелись у Петруни любимцы. Дедов Гусар и кобылка Звёздочка. Звёздочка была умная, смиренная, ласковая и работающая. Всегда, завидев Петруню, она гугукнет приветственно и радостно. Неизменно её Петруня угостит хлебом, приласкает, а Звёздочка непременно благодарно положит ему голову на плечо да вздохнёт успокоенно. И вот как-то зимой взял Звёздочку возить дрова в контору Спирька, главный деревенский варнак — задира и хулиган. Накидал без меры в дровни, чтобы два раза не ездить, обвязал бечевой, чтобы в дороге не раскатились лесины. И повёз. Звёздочка еле ногами перебирает, а пьяный Спирька матом её кроет да дерёт без конца кнутом. Мимо конюшни ехал — выбежал Петруня, дорогу преградил. Спирька в азарте злобного куража соскочил с дровней. И пошёл грудью на конюха, да пообещал сначала Петруню соплёй перешибить,

а потом и Звёздочку, ленивую эту бестию, запороть. Сделалось вдруг Петруне жарко, задрожал он и, откуда только сила и взялась, да только ткнул раз-другой Спирьку в нос. Спирька, прежде чем обнять землицу, едва и успел, что юшку из носа пустить. Сбежалась, конечно, на диковинное происшествие вся деревня. Ещё бы! Спирьке, первому забияке, поднесли. Да и кто поднёс — Петруня! Вот уж диво! Спирька, как в себя пришёл, кровь по лицу размазал, принялся на Петруню кидаться. Мужики его сдержали. Орал Спирька страшно, обещал Петруне ноги выдрать. Но проспался Спирька и Петруню больше не донимал, ещё и лошадей обижать с того дня перестал. По деревне шептались про то, что Спирька друзьям своим сказывал: “Может, когда по пьяни и рассчитаюсь с Петруней, кто его знает. А вообще есть в нём что-то. Сопля соплёй, а пупком, видать, не хилый. Уважаю такое”.

А через шесть месяцев началась война. И посередине июля разнесли по Тимошихе повестки, не обошли и Петруню. Горе, и раньше осознанное, но теперь столь явно осязаемое, страшным половодьем растеклось по деревне бабым криком да причитанием. Парнишки, коим на долю выпало получить повестку, храбрились на людях. Но смолили без конца табак, иной раз потерянно и невидяще поглядывали на запад, словно пытаясь отгадать, что ждёт их там, в дальних землях, именуемых теперь жутким словом “фронт”. Жутким и потому, что фронт этот приближался и приближался с каждым днём к родной Тимошихе. Ватажились парнишки, друг у друга пытались отыскать укрепление. Гуляли последние деньки, пока судьба не раскидала их по новым колготным ватагам — взводам, экипажам и батареям. До самой зари стала голосить гармонь, нервно и пьяно тянули прощальные песни новобранцы. Петруня же, наиглавнейших мужицких страстей — девок и вина — не изведавший, за три дня починил всю сбрую на конюшне, последний раз почистил всех лошадей, наколот дома дров. Да сходил на погост, попрощался с родными. Из мужицкой родни на погосте, в родной земле только дедко Севастьян и упокоился. Остальные мужики Петруниной родовой остались лежать по чужедальним землям от Шишки до Порт-Артура. И подумалось Петруне там, на погосте: а в какую землю суждено лечь ему?

Проводы около колхозной конторы Петруня особо не запомнил. Дуже сумятно было на душе. Чтобы не разрыдаться самому, старался не глядеть на заплаканную, за несколько ночей глубоко постаревшую мать. И на конюшню старался не смотреть. Глядел на нескладно хорохорившихся парнишек и на мужиков постарше, невесело и жадно вглядывающихся в своих ребятешек и жён. Слушал, кто из мужиков какие заветы по хозяйству давал своим домашним. А потом подали подводы — и всё. Разом хлынули надрывные бабы причитания. Оплакивали уходивших, так показалось Петруне, будто покойников. Оттого сделалось вовсе мутно. И среди колготы, гомона и плача услышал Петруня вдруг Спирькин голос. Самого Спирьку видел со спины, а вот голос его ясно услышал. Спирька говорил кому-то:

— Здесь за героистку моей души мне была одна дорога — в острог. Такого уж я складу. А на войне я в люди выбьюсь! Война что ж — это мне можно. Ещё услышите про Спиридона!

Уже на Волхове, в Малой Вишере, получил Петруня письмо из дома. Сказывали в нём и про Спирьку, дескать, пропечатали про него даже в газете — подбил гранатами два танка в одном бою, за что награждён орденом.

Самому Петруне совершать подвиги не довелось. После запасного полка, в октябре сорок первого ездовой Пётр Востриков очутился под Дорогобузем. И, не успев дойти до передовой, услышал жуткое слово “окружение”. Страшными были те дороги “виземского котла”. Мечущееся войско, обезумевшее от ходившей по головам немецкой авиации, бесконечные заторы на перерезанных фрицем дорогах, брошенная техника, необрунные, раскатанные колёсами трупы людей и лошадей.

Но среди виземского кошмара ту лесную дорогу Петруне не забыть никогда. На узкой раскисшей дороге, посреди промокшего от дождей густого леса образовался затор. Всё, что смешалось в сумятице безуспешных попыток выхода из окружения — подводы, санитарные фургоны, тракторы-тягачи, грузовики, — образовало длинную беспорядочную колонну. И когда из-за тыльного поворота появились уступом два танка с крестами на броне, началась паника. Немецкие танкисты поняли, что сопротивления им не

окажут. И решили не тратить ни снарядов, ни патронов — просто стали сминать всё на своём пути гусеницами. Петруня обернулся на шум и внезапно зажмурился. Тех нескольких секунд, которые он видел происходящее на дороге, хватило, чтобы вобрать в себя всё отвратительное, безумное уродство войны...

На узкой дороге металась лошадь. Они сталкивались между собой, скреплялись оглоблями, лезли на борта ёрзавших полуторок, пытались ускакать в лес и, взвизгнув, останавливались, застревали повозками в частокоте деревьев. Давили людей и лошадей напиравшие грузовики и санитарные автобусы. А сзади — живое и уже неживое, бьющееся и уже немощное — всё исчезало под гусеницами немецких танков. И ещё не растворившись в ознобном беспамяත්стве общей паники, Петруня только и успел выпрячь своего мерина Грома да больно стеганул его шомполом от карабина, чтобы Гром умчался в лес. Карабин Петруня, столкнувшись с кем-то на бегу, уронил в грязь и не нашёл в себе сил, чтобы вернуться за ним. Всё остальное затем — провал. Какое-то время ничего не существовало, кроме страха, одуряющего, слепого и оглушающего страха, наливающего ноги тяжким холодом.

А потом снова лес взорвался дикими воплями умирающих людей и кошмарным предсмертным ржанием лошадей, истушпленным рёвом о помощи раненых из санитарных фур и подвод. Петруня, сам не понимая, что он делает, побежал обратно, подхватил с ближней подводы бойца с перебинтованными ногами и головой. Ввалив взвизгнувшего от боли раненого себе на спину, задыхаясь, Петруня побежал вглубь леса, не разбирая дороги. Петруня бежал, что есть мочи, но силы быстро стали оставлять его. Кровь набатом била в виски, а сердце колотилось так, что перехватывало горло. Петруне стало казаться, что ещё немного — и его тело разорвётся на куски. Он перешёл на шаг. И снова сделались слышными страшные звуки с дороги. Тогда Петруня опять побежал, раненый за спиной от боли сызнова костерил весь белый свет. От изнеможения Петруня скоро перестал понимать и видеть, куда бежит.

Запнувшись за валежину, он распластался на земле. Сверху больно навалился раненый. Петруне захотелось скинуть его с себя, но на это уже не хватило сил. Раненый с громким стоном сам скатился с Петруни и лежал рядом. Раненый хрипло хватал воздух ртом, как будто это он бежал по лесу, а потом еле слышно произнёс:

— Спасибо, браток... помирать буду... не забуду тебя...

И замолчал.

Умер на орочью. В мучительной и долгой агонии, не помня, не слыша и не видя своего спасителя. Петруне с ужасом казалось, что на громкие стоны умирающего непременно сбегутся немцы. Сердце Петруни заходило от страха попасть в плен, но он даже не думал бросить умиравшего, хотя и облегчить его страдания ничем, кроме молитвы, не мог. И только на рассвете, забросав бездыханное тело отмучавшегося неизвестного ему солдата палой листвой, он, совершенно измотанный, двинулся на восток. Днём в лесу встретил своих — человек двадцать красноармейцев.

Потом был выход из окружения, переформировка в тылу под Боровичами и Волховский фронт. Познал необъятность матушки-Руси, много трудных дорог исходил Петруня, никогда дальше соседних деревень до войны не выезжавший.

Шёл Петруня по дороге и сейчас. Лес закончился. Впереди было поле, ещё покрытое ноздреватым, огрузневшим снегом, но уже заляпанное тёмными пятнами проталин. Поле, устремившееся в низину пологим спуском, упиралось в широко раздавшийся талой водой ручей. За ручьём начинался невысокий, но крутоватый взлобок. А затем снова шёл побитый снарядами, чахлый болотистый лес.

Одолев половину поля, растянувшаяся колонна снова остановилась.

Остановились и Везуха с Петруней. Везуха жадными ноздрями тяжело хватала воздух, раздувала бока. Стрельба на передовой слышалась теперь отчётливо и близко. Там перестали рваться снаряды и мины. Но трещали винтовочные выстрелы, как будто кто-то ломал сухой хворост, и озлобленно взрыкивали пулемёты. К Петруне опять подошёл, оскользаясь в грязи, младший лейтенант. Снова тревога была на его лице.

— Мостка тут нет? — спросил он. — А то неохота людей купать. И без того измотались вконец. Какими ж я их на передовую приведу?

— Там гать настелена, — ответил Петруня. — Её, правда, залило сейчас. Не видно, под водой она на пядень, но вешками по краям отмечена. Их приметно будет. А ноги и так у всех мокрые.

Младший лейтенант посмотрел недоверчиво на ручей, потом зачем-то поднял голову и тоскливо поглядел на хмурое небо. Поднял голову и Петруня. “Вот я, деревенский, а небо только и вижу, что в лужах на дороге. Или когда самолёты. Да чего тут говорить? Чай, не в ночное вывел. Война...” — подумалось Петруне. Он понурил взгляд, и вдруг голову ему совсем нехорошо закружило. Петруня, чтобы не упасть, машинально схватил младшего лейтенанта за рукав шинели.

— Ты чего? — воскликнул младший лейтенант, глядя на побледневшего Петруню.

Петруня испуганно убрал руку:

— Уже лучше.

Младший лейтенант ещё испытал ездового взглядом, развернулся и пошёл вперёд, скомандовал:

— В колонну по два, шагом — марш!

Войско зашевелилось в слякоти. Кто-то мечтательно произнёс:

— Обсушиться бы...

— Погоди, вот дойдём, дак немец обсушит тебя огоньком, — услышал Петруня знакомый голос. Он принадлежал тому, со сломанным носом.

— Стихает там вроде помалу, артиллерией не бьёт, — кто-то сказал с надеждой в голосе.

— Пойдём и мы потихоньку, кормилица. Уж маленько осталось, — промолвил Петруня, глядя на лошадь.

Везуха заперебирала дрожащими ногами, пытаясь сдвинуть телегу. Опустив голову, шумно дыша, налегала она на хомут, но только мотало её в оглоблях по сторонам. Петруня метнулся к телеге, уперся плечом в задний поперечный брус. Везуха сдвинула телегу, отфыркиваясь, тихонько пошла. Очень тяжело ей давалось каждое движение. Везуха стала подгибать в запястьях, широко и неуверенно расставляя передние ноги. Было видно, что переставляет их лошадь с большим усилием и при этом начала подволакивать задние ноги. Перед каждым шагом она опускала низко голову и, делая этот шаг, тянула вверх шею, словно на жилах подаваясь вперёд ещё на полметра.

Полурота уже переходила разлившийся ручей по затопленной гати — со стороны казалось, что солдаты идут прямо по воде. Петруня же, поотстав, только подходил к гати, и эта почти библейская картина мало занимала его.

На гати Везуха снова пошла тяжёлыми рывками, её замотыляло из стороны в сторону. Петруня схватил её под уздцы, испугавшись, что лошадь соскочит с затопленного настила. Когда Везуха сошла с гати на размешанную грязь начинавшего берега, сделала всего пару шагов на подъёме, её передние ноги подломились в запястьях. Лошадь с утробным выдохом, неестественно выгнув шею, ткнулась головой в грязь. Тут же она захрапела, попыталась вскочить, но сил не хватило. Петруня бросился к лошади. Она шумно раздувала ноздри и, часто моргая, будто извиняясь за свою немощь, глядела на него своим каштановым глазом, расширившимся, словно налившимся немым криком и отчаянной мольбой. И впервые во взгляде это умной, работающей лошади Петруня увидел непонимание, неприятие произошедшего. Взгляд лошади был совершенно невыносимым даже для почерневшей на войне людской души, каковой и считал свою душу Петруня. Он уселся рядом и положил себе на колени её голову. Петруня огрубевшими, но ещё способными на ласку пальцами поглаживал ей переносицу и лоб:

— Ну, что же ты, родимая? Нехорошее удумала. Надобно нам с тобой вставать. Надобно, милая. Иначе нам с тобой никак... сейчас вот маленько подышим с тобой, и помалу пойдём. Сполнять-то дело надобно. А как же?..

И вдруг с ужасом осознал, что, оставшись один, если Везуха не сможет подняться сама, ничем не сможет ей помочь. И оттого испуганно закричал:

— Братцы! Пехота! Помогите!

И словно эхом, то прорываясь через трескотню передовой, то снова пропадая, послышалось Петруне хриплое урчание где-то в лесу. Испугавшись,

что его не услышат в уходящей колонне, заорал так, что самому ему показалось, будто лопнут сейчас жилы в простуженном горле:

— По-о-о-омоги-и-ите, братцы!

И услышав быстрое чавканье и тяжёлое, тревожное дыхание за спиной, понял — он докричался.

— Вот так провожать! Других, что ли, не нашлось? Навязали неудобь, — послышался чей-то насмешливый голос, и показалось Петруне, что того маршевика, с ломаным носом.

Рядом с Петруней присел молодой солдатик. Большими, напухшими от тяжёлой работы пальцами он провёл по шее лошади, тяжело вздохнул:

— Изорвала силёнки по такой дороге...

Потом он низко опустил голову и неловко тронул ладонью повлажневшие свои глаза. Наверное, чтобы остальные не углядели этой его слабости. А Петруне, сидя рядом, показалось, будто увидел он, что творится в душе молоденького солдата. Деревенский он, поди. И сейчас вот, двигаясь впервые к передовой, предчувствует разломный момент своей жизни. Когда он, подлинно земной человек, окончательно оторвётся от привычного уклада своей жизни и встретится с настоящей войной. Не той, что видел солдатик на плакатах, а той, что уже сейчас сама смотрит на него глазом страдающей лошади. И рвётся, оттягивая ноющее сердце, рвётся в эти мгновения невидимая пуповина, соединявшая солдатика с прошлой жизнью. Жизнью, кажущейся теперь такой далёкой, затянутой свинцовым туманом загустевшего военного времени. И он, солдатик, начинает сейчас новую, неведомую и, возможно, очень короткую жизнь. И обострёнными до предела чувствами жгуче ощущает чужую боль...

Подошедший младший лейтенант какое-то время растерянно глядел на лошадь.

— Она поднимется? — наконец спросил он.

— Не знаю, — ответил Петруня.

Сама Везуха не встала. Пришлось ей помогать и поднимать её с помощью вожжей. Везуха стояла еле-еле. Передние ноги её будто бы не сгибались, были выпрямлены. А на дрожащие задние ноги она, наоборот, припадала, отчего её вело назад, и казалось, она вот-вот снова завалится. Но, неуверенно переступая на месте ногами, Везуха удерживала шаткое равновесие.

— Распрягать надо, — дрогнув губами, произнёс Петруня.

— Как же распрягать? Приказ ведь — поскорее, — удивился младший лейтенант.

— Распрягать, говорю, надо, — повторил Петруня и сам поразился твёрдости своего голоса.

Из леса, на той стороне ручья, снова раздался сильный рокот. Все обернулись на звук. На чёрную, извивающуюся по полю жилу дороги выскочил гусеничный тягач “Комсомолец”. Тот, что всю ночь матюкали и не могли починить ремонтники. Тягач угрожающе кренится, попадая в рытвины, шёл юзом и, чихая выхлопами, снова натужно возвращался в колею. По мере его приближения можно было разглядеть, что тащил он сорокапятку с передком. Ещё казалось — был тягач без меры нагружен каким-то скарбом, который на каждой рытвине мотался по тягачу и угрожающе свешивался то в одну сторону, то в другую, но непонятным образом не вываливался за борта. Но скоро стало видно — это были облепившие тягач солдаты.

Тягач осторожно сполз на гать, продвинулся и, нервно дёрнувшись, остановился. Ему не хватало места объехать телегу, вставшую на конце гати. Выбравшись из люка, с кабины прыгнул могучего сложения капитан в полубоке, сильно залепленном грязью. Петруня видел командира раньше в полку, да и на передке доводилось его видеть. Капитан в несколько широких, нетерпеливых шагов, разбрызгивая ногами воду, преодолел расстояние между тягачом и телегой.

— Что случилось? — будто два камня в воду бросил слова капитан.

— Товарищ капитан! Вверенная мне полурота следует в Селищево, — вытянулся перед ним младший лейтенант.

— Медленно следуете. Медленно! Вы это понимаете? — жёстко ответил капитан.

— Проводник вот с лошадью. Так она... упала. И дальше не идёт...

— Слушайте, вы! — перебил капитан. — Там батальон держится! На честном слове держится! А у вас тут лошади не идут?!

Капитан бросился к Везухе, схватил её под уздцы, яростно задёргал, рвал удилами губы лошади:

— Пошла! Пошла, ну! Пошла, говорят! Ну!

Везуха только выгибала голову, мотала ею, но не сдвинулась с места. Побледневший, разъярённый капитан с руганью кинулся к телеге, вытащил оттуда лопату, что всегда возил с собой Петруня. Капитан ребром лопаты принялся без разбору лупить Везуху по рёпице, крупу, спине, бедру.

— Пошла! Пошла!

Тело Петруни на мгновение сделалось невесомым, словно в дурном сне видел он, как при каждом ударе вздрагивает всем телом Везуха, приседает на задние ноги, как от боли лезут из орбит её каштановые глаза, налитые кровью. Почувствовал Петруня жар в голове, грудь наполнилась едкой болью, и, словно стараясь выпустить эту боль из себя криком, кинулся ездовой к капитану, схватился за лопату:

— Не да-а-а-ам! Не дам бить! За что?

Капитан отпустил вдруг лопату. И Петруня увидел — перед ним стоит уже не тот командир с огромными, навывкате глазами, взвинченный яростной гонкой к возможной смерти. Он в одно мгновение, словно опамятовавшись, превратился в опустошённого, до крайности издёрганного войной человека. Не было в его взгляде ни жестокости, ни удивления. Его усталые, в окоёме воспалённых век глаза смотрели куда-то сквозь Петруню, будто и не видел капитан ездового. Так старики в свои последние дни смотрят иной раз на хлопочущих рядом родных. Петруня выдохнул уже тихо:

— Выбилась она... совсем... ни роздыху, ни прокорма никакого. Не надо её бить...

Капитан перевёл взгляд на лошадь, которая, обнажив окровавленные зубы, жалобно и тихо, хрипло ржала, умоляя больше не причинять ей боль. Потом он оглядел Петруню. У капитана вдруг повело угол рта вбок и книзу, как это бывает после контузии, шея напряглась, он дёрнул головой и с видимым усилием сглотнул, будто протолкнул внутрь себя что-то очень вязкое и мешавшее дышать.

— Даю две минуты, — каким-то надтреснутым, севшим голосом произнёс капитан. — Ящики, сколько поместятся, приторочить на тягач. Лошадь выпрягай. Телегу — на руках наверх. После, полурота, за тягачом. Слышали? И быстрее! Быстрее!

Везуха на трясущихся ногах едва ододела небольшой подъём, сзади помогли ей Петруня и пехотинцы — вязкий берег ручья остался позади. Следом маршевики затянули опустевшую телегу. Тягач натужно взревел, вымахнул вверх и, разбрызгивая грязь, прошёл мимо Петруни. Потрусили за ним и маршевики. Туда, где то стихала, то снова разгоралась пальба. Иной раз казалось, что она приближается, а потом чудилось, будто наоборот — удаляется. И что происходило на передовой, отсюда понять по звукам было невозможно. Через пару минут тягач, а за ним и маршевики скрылись за поворотом.

Везуха стояла, понуро опустив голову. Петруня подошёл к ней, она чуть подняла голову и посмотрела на ездового. Посмотрела так, как горько и пронзительно умеют смотреть на человека только животные, пытающиеся взглядом передать всё, чего не могут сказать словами. Везуха своим каштановым печальным глазом вопрошала — за что же её, до изнеможения уработавшуюся, всем своим существом преданную людям, сейчас били, били яростно и жестоко?

Петруня прильнул щекой к голове Везухи, она же положила голову ему на плечо. Петруня обнял дрожащую шею лошади и прошептал:

— Прости, кормилица! Всех нас прости, если сможешь...

Из закрытых глаз Петруни по щекам катились слёзы. Оттого, что он почувствовал себя вдруг беспомощным и жалким. Оттого, что не мог оградить от страданий верное, ласковое и умное, беззащитное существо. Оттого, что любовь всей его жизни на войне беспрестанно истязала, причиняла ему постоянную боль. Оттого, что нет больше рядом и никогда не будет дедушки Севастьяна. Оттого, что нет больше лада в изболевшейся душе. И заставляя замирать сердце, душа ворочается в теснине груди, будто просится вон из

опостылевшего ей тела. И оттого, что вдруг осознал Петруня: до конца дней не сойти ему ни с вяземских, ни с волховских дорог, не отмыть в себе их грязь и кровь...

Где-то совсем недалеко раздался хлопок, потом захлопало ещё и ещё. Тут же, будто совсем рядом, что-то беспорядочно сухо защёлкало, а потом показалось — кто-то неведомый, с длинным злобным рыком неистово вгрызаясь в древесину, поглотил остальные звуки. Петруня понял — начался бой. Скорее всего, маршевики наткнулись на прорвавшихся немцев. Петруня заметался. Схватил карабин, хотел бежать за поворот. И одумался — чем он один сможет помочь маршевикам? Потом всё же решил бежать, но сначала увести Везуху в низину, за ручей — дело за поворотом всё разгоралось пальбой. Но после того, как он взял её под уздцы, Везуха с видимым усилием сделала только несколько неуверенных шагов. Остановившись, лошадь отвернула от ездового голову и ответила просящим, тихим жалобным ржанием.

— Кормилица моя, пойдём. В низинку бы нам... да налегке... Что же ты?

Везуха больше не сделала ни шагу. Петруня растерянно огляделся. По обочинам дороги к ручью бежали двое. Один бежал, петляя, пригибаясь к земле, и казалось, он вот-вот нырнет в снег или грязь. Второй всё время оскальзывался, оборачивался на бегу и снова оскальзывался. Он всё время взмахивал руками, и было непонятно, то ли он старается не упасть, то ли подаёт знаки опасности Петруне.

Боец, который петлял и пригибался, подбежал к Петруне и остановился. Ездовой узнал в нём того маршевика, с ломаным носом.

— А ты чего телишься? Немца дожидаться? — зло зыкнул он Петруне. Затем скинул с себя сидор, принялся расстёгивать шинель, на полы которой густо налипла грязь.

— Скидывай всё с себя! — крикнул Ломаный Нос второму подбежавшему солдату.

Тот, снимая с себя сидор и шинель, зачем-то оправдывающимся голосом одышливо заговорил, глядя на Петруню:

— Сапог у меня в грязи остался. Мы и отстали. Ящик-то на двоих несли. Я сапог вытащил, пока грязь из него доставал, а он как давай по колонне лупить! Страсть! Наши, кого сразу не убило, — в лес. А там всё в воде, болото, что ли, там? А немец лупит и лупит по ним с пулемётов. Потом смотрим — разделились немцы, часть той стороной пошла сюда перебежками. Много! Мы и побежали. Сюда они идут! наших, вон, слышишь, кончают... Я вот и сапог с испуга оставил...

Ломаный Нос испытующе посмотрел на ездового. Петруня решал, что же ему делать? Бежать с ними? Принять бой самому? Ежели бежать — оставить Везуху тут? Но здесь будут немцы. Оставлять на немцев? Петруне вдруг представилось, как будут они гоготать, глядя на измученное, исхудалое животное. А может быть, захотят увести к себе, в обоз. Станут понуждать, бить, орать. Да и отступятся ни с чем, истерзав напоследок, стрельнут в неё. Нет, Петруня верную лошадь не оставит немцам на поругание. Но и не увести её отсюда, и немца не остановить. Да и бегать у Петруни силёнок уж не осталось вовсе. Принять бой самому? По другую сторону дороги залечь? Так палить примутся во все стороны — того гляди, зацепит Везуху. А то ежели не сразу наповал — будет биться, крутиться в грязи да хрипеть, разрывая сердце ездовому. Видал такое Петруня уж не раз, хватит с него.

И вдруг он всё решил.

— Я с ней останусь! — выдохнул Петруня слова, будто остатки жизни из себя выдохнул — закружилась голова, руки да ноги ватными сделались.

— И хрен с тобой, коли пропадать охота! — Ломаный Нос тут же развернулся и сбежал вниз, к ручью, помчался по гати. Второй боец побежал за ним.

Петруня подошёл к Везухе, прижался щекой к её щеке, обнял. Потом чуть отступил, чтоб сказать верной своей спутнице на прощание ласковые слова. И увидел — из её печальных, всё понимающих глаз скатились, оставляя тёмно-блестящий след, две слезинки. Петруня только и смог выдавить из себя:

— Прости, кормилица, так уж тебе всяко лучше будет...

Ощутил Петруня: если продолжит говорить с лошадыю, то не сможет быть сильным. А он должен, должен именно сейчас быть сильным. Петруня отстранился от Везухи, та отозвалась жалобным и тихим ржанием. Ездовой кинулся к телеге, выхватил оттуда карабин и на секунду замер. Он взглянул на дорогу, уходящую по полю к лесу, к штабу полка, к жизни. По дороге бежали две ставшие маленькими фигуры.

Петруня развернулся и, стараясь не глядеть в её мокрые глаза, подошёл к Везухе, вскинул карабин и прицелился ей в ухо...

На дороге, в луже, громко бляял и волчком вертелся раненый немец.

Несколько товарищей пытались перевязать его, но он никак не давался им, сучил ногами, разбрызгивая слякоть вокруг себя. По обочинам дороги, поругиваясь на русскую грязь, поднимались другие солдаты. После недолгой перестрелки стало тихо. Один из немцев тяжёлым, усталым шагом побрёл к позиции русского одинокого стрелка. Этот русский стрелял из-за лошади, убитой, видимо, им же. Лошадь, служившая русскому при жизни, послужила ему и после смерти. Она, будто бруствер, укрыла его своим телом, пули изрешетили всю её грудину и живот. Но всё же чья-то пуля достала русского, и теперь он лежал рядом с лошадыю ничком. Побелевшие худые руки его сжимали карабин. На русском не было одного сапога — он валялся рядом. Тут же, возле голый стопы змеилась смятая, мокрая портянка. Такую картину немец видел часто. Один сапог скидывали те русские, кто не хотел сдаваться в плен, чтобы, приставив к подбородку дуло карабина или винтовки, пальцем ноги нажать на спусковой крючок.

Немец снял каску, грязной ладонью устало провёл по лбу и запустил чёрные пальцы в спутанные волосы. “В этом теле подростка жил очередной фанатик. Один против двадцати пяти — безумие. Как и всё, здесь происходящее”, — бесстрастно подумал немец.

Мимо проходили два пулемётчика-ветерана, воюющих в России ещё с лета сорок первого. Остановились недалеко, закурили. На убитого русского они даже не взглянули.

Один из них, что нёс пулемёт, обернувшись, посмотрел на голосившего раненого солдата и сказал товарищу:

— А ведь вчера утром, когда эти юнцы из пополнения заключали пари, кто из них первым убьёт Ивана в ближнем бою, помнишь, Йенс, я им сказал, чтобы заткнулись, потому что нам ещё представится шанс послушаться арий в их исполнении. И что? Результат превзошёл все ожидания. Тот высокий блондин, по-моему, Торстен, получил пулю прямо в лоб ещё ночью. А этот бедняга Пауль, похоже, больше не сможет познать радости любви. На его месте я бы вопил ещё громче.

— Ну их к чёрту!

— Ты не прав, Йенс, — усмехнулся тот, что нёс пулемёт. — Без этих юных болванов атакующий задор нашего батальона был бы значительно ниже.

— К чёрту и их, и всё это дерьмо.

Чертыхаясь, они не спеша пошли дальше.

Немец, разглядывавший трупы лошади и русского солдата, полез в карман, достал оттуда галету, разломил, кинул половину в рот. “Эти двое стали отменными скотами на этой войне. Но, возможно, всё случилось раньше”, — подумал солдат о ветеранах. Он посмотрел на небо. Там весеннее солнце чуть поднялось над лесом, измочаленным снарядами и бомбами. Новый, ничем не примечательный день войны только начинался...